

Александр АВДЕЕНКО

Вместо того чтобы взять и написать все, что помню, я взял его красный десяти-томник и, перескакивая с одного на другое, не мог оторваться несколько дней.

Проза его завораживает. Ее свободный поток несет в себе некое ритмическое чудо, соединяя неслышимое звучание слов с пластикой их метафорического перевоплощения. Его фразы и периоды одновременно и музыкальны, и живописны, и скульптурны.

Сам себя Катаев называл безусловным материалистом — именно так, через мягкий знак. Но из всех писателей советской эпохи, скопом проходящих по ряду социалистических реалистов, он был, пожалуй, самым раскованным формалистом, который мог позволить себе не просто изысканность письма, но и почти эпатажное щегольство мастерством.

Никто не знает сегодня, какие книги из безразмерной советской литературы возьмет себе на заметку будущее, что будут читать подростки XXI века. Но если к нам вернется ощущение истории, то художественное осмысление и ощущение ее без катаевского "Паруса" будет неполным. Как неполно оно по отношению к веку XIX, скажем, без аксаковских, гаршинских и толстовских повестей о детстве.

Катаев с младых ногтей был мэтром. Его юношеские стихи разбирал Бунин. Его пьесы ставил Станиславский. На его либретто писал музыку Прокофьев. С пушкинской щедростью он дарил сюжеты: по-братски — "Двенадцать стульев" Ильфу и Петрову, за ящик шампанского — "Раков" Михалкову. Новому времени, робко проклюнувшемуся в середине пятидесятых, он подарил журнал "Юность", а вместе с ним

целую обойму новых писателей — Гладылина, Аксенова, Вознесенского, Евтушенко, — которым сегодня уже за шестьдесят.

Когда ему было за шестьдесят, он подарил всем нового Катаева, начавшегося "Святым колодцем" и сохранившего мощь ассоциативного письма, осмысляющего прожитую жизнь, до конца дней.

На протяжении долгих лет я часто бывал в его доме. Мы вместе выросли — его дети и дети других переделкинских писателей. Когда-то дружили и ходили в гости друг к другу наши родители. Многие из рассказов Катаева, превратившиеся потом в литые строки, я впервые слышал из его уст. Рассказывал он необыкновенно интересно — особенно о заграничных путешествиях, в которые тогда мало кто пускался. Зарубежные издатели выхватывали новую прозу Катаева буквально из-под его пера, мелькали одна за одной Америка, Италия, Франция, сменялись лица, приемы и рестораны, и как он все это живописал!

Дом его супруга Эстер Давыдовна вела великолепно. Будни здесь не отличались от праздников. Стол был всегда сервирован замечательной посудой, всегда подавались вкуснейшие домашние пироги.

Помню, однажды на какой-то Новый год после полуночи я заехал к ним в Переделкино. За широко раздвинутым под белоснежной скатертью столом сидели Катаевы и мои родители. Посредине стола на большом блюде покоилась поджаристая индейка. Все закуски были уже убраны, но почему-то стояла громадная, литровая на пять, бутылка французского "Кальвадоса" — совсем непо-

тая по причине того, что свое участие этой трапезы уже давно выпили в молодые годы и бутылки отборного французского шампанского им вполне хватило на целый вечер.

Катаев с удовольствием позволил мне откупорить яблочного зелья, тогда известного в основном весьма частым упоминанием в книгах Ремарка. А я поделился своим новым литературным впечатлением: всего на сутки дали машинописный экземпляр "Ракового корпуса", и я закончил читать его ровно перед тем, как отправиться в Переделкино. "Ну расскажите", — попросил Катаев. И я начал рассказывать: подробно, со всеми ужасами униженности и безнадежности, которые пережил сам, читая Солженицына. "Ясно, — прервал меня где-то в середине Катаев. — Сюжет понятен". Меня это даже задело — такая правда, а он не хочет слушать.

Но у писателей свои взаимоотношения и с сюжетом, и друг с другом. Вскоре после этого состоялась встреча Катаева с Солженицыным, кажется, по инициативе последнего. Знаю от домашних Катаева, что закончилась она почти что раздором. Представляю, какое впечатление на опального правдолюбца произвели и стол, и его сервировка, и, наверное, гастрономические изыски хозяйки. "В наше время русский писатель не имеет права так жить", — сказал, уходя, Солженицын.

Наше время — оно всегда наше время, какая бы эпоха ни стояла на дворе. Но вот как в нем жить? Наверное, и у Солженицына, как когда-то у Катаева, сейчас все в порядке с домом, с сервировкой,

гастрономическим набором. Но ничего — живет и в наше время. Большой, наверное, самый большой ныне русский писатель.

Катаев жил всегда хорошо. Несмотря на то, что на него разгневался во время одной писательской проработки сам Сталин, несмотря на то, что была после войны разгромная статья в "Правде" о продолжении "Белеет парус одинокий" — "За власть Советов", несмотря на то, что беспрерывно цеплялись к его последним повестям и книгам, эссе.

Жизнь и власть ставили в свои рамки. Тех, кого не убили, держали на строгом поводке. Прикармливали премиями, госдачами, геройскими звездами. Шаг в сторону — Пастернак!

Было время дутых, номенклатурных, секретарских писательских фигур. Оно умело, оставляя в живых, ломать даже самых талантливых.

Но Катаева время не сломало. Как в собственных сочинениях его все больше и больше волновало не сам сюжет, а его преодоление, так и от жизни он почерпнул нечто большее, чем ее сюжетные перипетии.

Когда-то он позволил мне написать об одной из книг своей библиотеки — буинской "Лице", стоящей на самом почетном месте в книжном шкафу. Но потом передумал и специально позвонил, чтобы сказать об этом.

Но сначала о поводе. В 20-м году он написал рассказ "Золотое перо" — о некоем академике литературы Георгии Шевелеве, который в осажденной красными Одессе начал писать повесть о старом, умирающем князе, не замечая, что с каждым днем в городе становится все тревожнее. Ве-

ра его в добровольческую армию была неколебимой. И вот, когда положение стало почти безнадежным, к нему пожаловал генерал, обороняющий город, и уговорил написать газетную статью для поднятия духа обороняющихся. Всю ночь академик писал статью, пропитанную желчью и злостью, а когда она была отправлена в типографию, вернулся к умирающему князю, однако написать ничего не смог. На следующий день статью расклеили по тумбам, но было уже поздно. Красные должны были войти в город с часу на час. Уехать с последним пароходом академик отказался. А наутро все было кончено — поверх театральных афиш и газет расклеивались приказы Революционного комитета. И вот в начале улицы появился отряд. Академик ясно увидел в окне веселых оборванных солдат с красными бантами и кожаные куртки матросов. Грубые удары прикладов потрясли входную дверь. Но на ней висела охранный грамота на жизнь, свободу и личное имущество академика, полученная в Революционном комитете другом писателя. Матросы потоптались и ушли. "Слышь, ребята, академик".

"И опять в доме сделалось тихо. Шевелев подошел и сел на диван рядом с женой. Вместе со страшной усталостью сердце его наполняла непонятная горечь, как будто он только что возвратился с похорон очень близкого человека".

Такой рассказ. Орлиная костяная голова, пергаментные пальцы, почерк, известный всей России, — никаких сомнений, что описан Иван Алексеевич Бунин.

О том гласит и дарственная надпись на томике, изданном Бу-

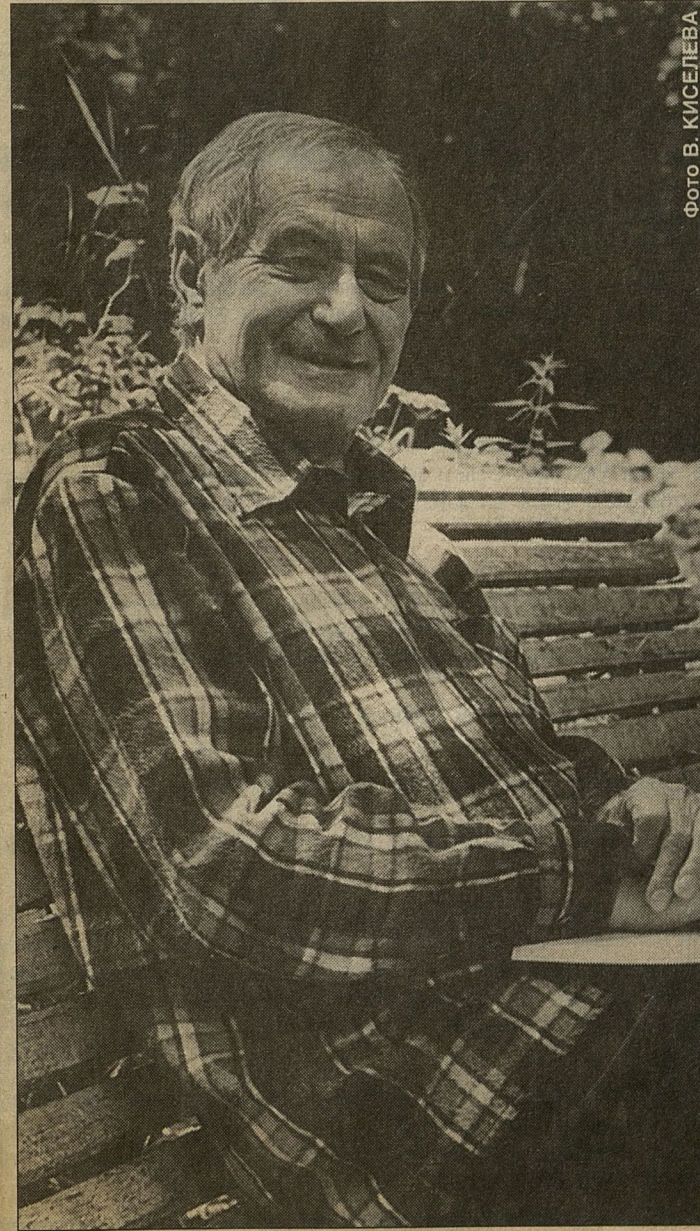


Фото В. КИСЕЛЕВА

ниным во Франции: "Валентину Катаеву от академика с золотым пером. Ив. Бунин".

Какими путями он попал от Бунина в ненавистную ему Совдепию, мне неизвестно. Знаю только от Катаева, что Бунин внимательно следил за литературным трудом своего ученика, но никогда вслух не хвалил, боясь ему повредить на Родине.

Обо всем остальном написал сам Катаев в "Траве забвения", где Бунину и его участию в судьбе начинающего литератора посвящены десятки нежных и трепетных страниц.

Катаев жил в Переделкино на улице Серафимовича. В просторечии она называлась Аллеей Классиков — здесь стояли еще дачи Чуковского, Кассиля, Леоннова. Улицы имени Катаева в Переделкино нет. Слишком долго прожил — все аллеи, проулки и переулки уже поименованы.

Он жил долго, и можно было прикоснуться к этой жизни, даже не будучи с ним знакомым. В окне на втором этаже его дачи, без занавески, под светом настольной лампы можно было увидеть его склоненную над листом бумаги фигуру. Его можно было встретить гуляющего с женой, детьми, внучкой. Присоединиться — и говорить с ним, а главное, слушать.

Всегда элегантно, в модном кепи, великолепном пальто, нацененных мокасинов — он являл собой незабываемый артистический образ. Не щеголя, не франта, не молодящегося денди. Увы, он старел вместе со временем, слезились на морозе глаза.

Но оставался молодым. До тех самых пор, пока не ушел вдале, уже не вернувшись обратно.

Но фигура его навсегда впечаталась в этот пейзаж. И без нее никакой пейзаж не полный. Как и словесность наша без его книг.